

дарья
гаечкина

Д О М

Дарья Гаечкина

Дом. Сборник миниатюр

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22471602

ISBN 9785448358968

Аннотация

Домой ты всегда можешь вернуться. Через полгода или через десять лет – в сущности, не так уж и важно; покуда ходят поезда и летают самолёты, всегда можно купить билет и оказаться на родном перроне или в родном аэропорту. Вот только ты это будешь или уже не ты?

Содержание

Люди, которые здесь живут	5
Москва – Димитровград	10
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Дом

Сборник миниатюр

Дарья Гаечкина

Дизайнер обложки Полина Стрижова

© Дарья Гаечкина, 2018

© Полина Стрижова, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4483-5896-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Люди, которые здесь живут

Приехав домой, мы с Пелагеей проводим ежегодный ритуал по встрече рассвета.

Закрывается кухонная дверь, с треском поднимаются шпингалеты разохшихся оконных рам. Вечерний август тёпл и душист, как нагретое молоко. На Пег ночная рубашка в мелкий синий цветочек, на мне – тяжёлый махровый халат цвета фуксии. Халат пахнет пылью и тридцатилетней мамой и завязывается белым пояском. На мамины худые ключицы он ложился намного изящнее, чем на мои – загорелые и плотные, и я ловлю себя на том, что периодически тянусь носом к его плечу, как лошадь, и вдыхаю запах.

Парной ночной воздух льётся по подоконнику, растекается на паркет. Пелагея снует по кухне, ставит чайник, сильно тряся зажжённой спичкой, потуже закрывает краны, суетится, сверкая худыми лодыжками. Наконец успокаивается. Я сажусь в уголок между холодильником и стеной, Пег – напротив, лицом к окну. Глаза у неё влажно блестят, горят румянцем щёки. На столе – бардак; старая лампа из тусклой советской пластмассы, четыре пачки печенья, апельсин, два пустых стакана с побитой эмалью и несчётное число пакетиков с кофе. Кофе – для меня. Для Пег – что-то пряно пахнущее из заварочного чайника, накрытого клетчатым полотенцем. Свет от лампы играет на стенах разводами, как в бассей-

не, отделяет жёлтым полукругом нашу с Пег половину кухни от той, где стоит плита и валяется веник. Над лампой вьются мошки, мелкие и лёгкие, как пыль, но живые и слепо тянущиеся к теплу.

Где-то снаружи спят стрижи.

В тишине наступает момент, когда всё замирает: на полувдохе, в полупрыжке. Я прикрываю томик Маяка: восемьдесят седьмой год, толщиной в два больших пальца, плотностью в полтора ведра воздуха, отдаёт Брежневым и кислой старой бумагой. Между страниц, хлёткий, плещется красный стяг, горит красный бант, слышно стукотание завода и видна чья-то агитирующая рука с мозолистым кулаком. Пег, сгорбившись, поджимает под себя босые ноги – стул скрипит пронзительно, старчески – и смотрит на огонь под чайником. Красноватый свет лампы пляшет на её щеках, руках: плотные пальцы, ногти – под корень, замусоленная фенечка на правом запястье. Загорелые, вымоченные в волжской воде, спокойные руки. Мой взгляд сбивается, теряется, скользит бессознательно, как во сне. Розетка, обмотанная изолентой. Мурашчатый краешек стола. Стопка тетрадей, старых, горько пахнувших, с обложками толстыми, как слоновья кожа, и выцветшими печатями «Восход».

Слышно, как восемью этажами ниже стрекочут сверчки.

Сидим молча, пока чайник не вскипит. Дождавшись пара, Пег подрывается, легонько, чтобы не разбудить спящих в соседней комнате, тренькает кружками. Пар взвивается от эма-

левого ободка моей чашки и улетает в окно.

– Думаешь, она иногда о нас забывает? – спрашивает Пег.

Я поднимаю глаза к потолку, как будто так проще смотреть ей в лицо. Ей – нашей квартире.

– Думаю, случается иногда. – И, помолчав, добавляю: – Она же с ними живёт.

Пег звенит ложкой о стенки чашки.

– С ними живёт. А нас обнимает, – говорит она серьёзно и ревниво.

Я подавляю вздох. Она и правда нас обнимает, наша квартира. Слышно, как бьётся у неё сердце, как сглатывает она водой в полотенцесушителе, всхрапывает мотором холодильника, кряхтит под линолеумом и в полусне подаёт голос каплей из кухонного крана. Спит, держа нас в объятьях – меня и Пег, пока где-то через две комнаты от нас на широком промятом диване спят люди, которые здесь живут. Мы так и говорим – «люди, которые здесь живут», как бы подразумевая, что они просто живут, живут временно и скоро уйдут. Уговариваем себя. От сочетания «сдавать квартиру» Пег всегда морщится, добавляет «и отступать по старой Смоленской» и жмёт губы в ниточку. Я знаю, что, выходя отсюда утром, Пег приложится лбом к дверному косяку и ещё раз, сотый раз, попросит прощения. Это временно, скажет. Потерпи. Прости. Вернёмся.

Ночь тянется долго. Сталкиваются от ветра оконные рамы, остывает и снова нагревается чай, шелестят страницы,

мигает старая лампа – где-то внутри у неё случается сбой или судорога. Воздух, согретый конфоркой и чайником, становится густым, пряным, медленно тяжелеет, наливается ночью. Изредка поднимаю глаза на Пег: она сидит на стуле напротив меня, согнув ногу в колене и держась пальцами за щиколотку. Глубоко впадают ключицы, остроносая голова наклонена набок. Перед ней – «Старик и море» издания восемьдесят второго года, пергаментно-жёлтые, толстые страницы, синий рисунок на белой обложке. Невыщипанная бровь, косая, широкая; крупные, как крошки ржаного хлеба, веснушки на крыльях носа. В стекле двери напротив отражается её фигура: вытянулась столбиком, напряжённо, как статуэтка, и вся подалась к окну. Окно дышит на неё ночью.

В какой-то момент кухня заливается вдруг стальным серым светом. Становится зябко, чай в стакане дышит холодком. Предметы проступают угловато и призрачно. Пег ловит мой взгляд, подходит к окну, опирается руками о подоконник и высовывается по самый пояс. Рубашка в синенький цветочек на ней пузырится от сырого ветра. За окном облака, как свалывшаяся вата, тяжелеют грозой; внизу густо, шершаво шелестят тополя, низко гнутся могучие ветви, кланяются рассвету. Солнце угадывается интуитивно, крепко замotanное облаками. Воздух, как пресная вода, сыроват и мутен. Где-то вдали стонет сигнализация. В сером мире машина шарит фарами по мокрому асфальту. Справа видно Волгу, и кажется, что рассвет поднимается от холодно-стальной,

мертвенно спокойной волжской глади.

Гремит, холодает, свежеет. Я касаюсь плечом тёплого плеча Пег, слышу, как ровно дышит она, а где-то сзади наша престарелая квартира вздыхает сетью водопроводных труб.

– Вот и повидались, – говорит Пег не мне.

Единственную в году встречу с нашей квартирой мы отмечаем, встречая рассвет.

Москва – Димитровград

Каждый раз, перескакивая с платформы на подножку, хочется остановиться и ненадолго приложиться лбом и ладонями к железному боку, как к шкуре или чешуе вполне себе живого существа. Поезд – гладкое, длинное, тяжёлое, доброе, человечье. Тяжело стоит на рельсах его разгорячённая громада, касаясь их только кромками сложных, в мазуте вымазанных колёс. Внутри у него деятельно и живо кипит человеческий дух, хлопает дверьми и откидными сиденьями, лезет в окна, прижимается к ним носами и пальцами, а когда поезд медленно перекачивается на первый оборот колёс, выдыхает нестройно, на разный лад: «Поехали!»

В вагоне душно и хлопотно, крепко дует через резиной обитые окна. По-поездному пахнет полотенцами, быстрой лапшой и пакетированным чаем. Звенят ложки, тихий говор шелестом катится от полки к полке; где-то надрывается ребёнок, и всё это сплетается в единую, устоявшуюся гармонию. Особенно хорошо сидеть внизу, обняв руками колени в помятых ситцевых штанах, и, прислонившись лбом к старой деревянной раме окна, неотступно следить, как отмаываются назад рельсы, залитые неровными чёрными пятнами пузатые вагоны с бензином и нефтью, невысокие дома с обтрёпанными балконами. Потом город остаётся позади, и как-то незаметно вдоль рельсов вытягиваются поля. Их

бугристое светленькое полотно раскидывается, как скатерть, и так и ждёшь, что кто-то проведет сейчас по нему морщинистой рукой. Такое это поле широкое, такое простенько-чистое, что слепит своим простором глаза и душу, болезненно цепляет глубокой мучительной любовью, от которой хочется плакать. Небо над полем и кажется заплаканно-радостным, улыбающимся; высокое, с полем слитое и от него не отделимое. Особенно грустно и особенно красиво стоят в этом просторе по одиночке и группками пёстрые тонкие берёзки, совсем есенинские.

Не выйти на станции – всё равно, что пройти мимо старой знакомой и не поздороваться, не постоять немного гостем на чужой земле. Проводница в светло-серой рубашке с помятым воротничком размашисто, с грохотом открывает вагонную дверь. Маленькая станция распаивается вдруг сквозь прямоугольник дверного проёма, как будто картонная. Желтоватые, белые, розовые домики жмутся друг к другу и мягко светят своей скромной парадной чистотой. Кажется, коснёшься такого рукой – будет тепло, и на ладони останется на пыль похожий мягкий шершавый мел. За окошками, за полупрозрачными занавесками прячется жизнь. По асфальту разбегаются глубокие частые трещины, и в них осторожно гнездятся пучками что-то желтовато-зелёное и чахлое от прямого солнца. По вечерам солнце уже косит через пробелы между домами, перебегает по стенам, с забора на забор, по выцветшей парадной табличке «Фаустово».

Столько в этой табличке скромной торжественной гордости; она здесь и паспорт, и свидетельство о рождении, и всегда вымытое лицо.

По вечерам такой уездный город тих, мягок, необыкновенно пронзительно светел и чисто прибран, и всё богатство его в этой чистоте и в этом свете, в заботе, с которой прикрывает калитку палисадника у вокзала женщина в белом платке. У неё усталое лицо, цветастый воротничок застиранного халата на кирпичной от загара шее и грубоватые, уверенные руки. И в этом жесте, в том, как пальцы её с земельной темнью, въевшейся в самую кожу, прикрывают разохшуюся деревянную калитку, неприметная и как будто мимолётная забота и ворчливая любовь и к калитке, и к аккуратному палисаднику с жёлтыми махровыми головками бархоток, и к выбеленному фасаду станции. Можно подолгу стоять на перроне и смотреть, как пружинисто скачут маленькие бойкие птицы по свежеполитым и от закатного солнца как будто горящим садикам, как мельтешат беспокойные вокзальные собаки, осторожно тянущие нос к холодному железу рельсов. Стою немного у двери, даже когда поезд уже трогается и станция начинает медленно съезжать вправо. Внутри у поезда что-то размеренно принимается отбивать такт, проводница, улыбаясь усталыми, сощуренными глазами в сетке загорелых морщин, жалуется на жару, глотая окончания, и становится видно, как неотделима она от такой вот станции, от её глубокой, неброской, простой, а потому такой пронзи-

тельной красоты.

Ночью – пыльный запах колких шерстяных одеял, грубоватая шероховатость постели, полупрозрачная невесомость подушки комочками. Свет фонарей из окон толчками пробегает по тихому вагону, на мгновение выхватывая то что-то свесившиеся с полки пальцы, расслабленные во сне, то резной железный подстаканник с изогнутой ручкой. Духота наконец разродилась грозой, и молнии подсвечивают облака и силуэты деревьев торжественно и степенно, как будто само небо вскидывает голову. Если иметь достаточно воображения, можно оставить душный пенал верхней полки и представить, что летишь; поезд тогда становится видно сверху. Вширь распахивается пугающая своей широтой и вольной бескрайностью равнина, небо от неё неотделимо и неотличимо, и проводить между ними грань кажется кощунственно и дико, как резать скальпелем что-то живое и цельное. А под этой просторной, тёмной, торжественной высотой упорно тянется куда-то прямо и будто бы в ночную глубь настырная тонкая нить, холодные масляные рельсы. И по рельсам, отгородив от слепого грохочущего простора вокруг тихую спящую жизнь, несётся бережно и упрямо стальная гусеница поезда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.